



Евгений Ростиславович Эростов родился в 1963 году в городе Горьком. Окончил Горьковский медицинский институт и Литературный институт им. А.М. Горького. Доктор медицинских наук. Автор шести поэтических и четырех прозаических книг, а также многочисленных публикаций в периодике. Произведения переводились на английский, немецкий, испанский, македонский и болгарский языки. Лауреат многих литературных премий, в том числе им. А. Горького, им. М. Цветаевой, победитель ряда международных поэтических конкурсов. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

Евгений Эростов

ВОЛКИ НА СНЕГУ

Рассказы

Эту картину привез из разгромленной фашистской Германии ее любимый папа — самый умный, самый смелый, самый честный, самый порядочный и самый справедливый человек в мире. Столыпинский вагон был переполнен трофейными вещами. Впрочем, в основном трофеи принадлежали командиру полка подполковнику Станкевичу. А папа, Игнатий Николаевич Коломенский, майор медицинской службы, в далеком сорок восьмом году сумел привезти только облезлое рассохшееся пианино, два саксонских сервиза, пузатое кресло на медных колесиках, несколько венских стульев с вензелями и гнутыми ножками и эту странную картину.

Впрочем, как раз ничего странного на картине изображено и не было, да и сама она не была странной по замыслу. Картина была странной по исполнению. Сразу же бросалось в глаза, что рисовал ее явно самодеятельный художник, гордо и педантично оставивший в правом нижнем углу незамысловатую подпись «Макс Фогель» и дату — 1944. На картине были изображены три серых, лохматых, поджарых и старых волка, похожих на усталых голодных собак. Два из них изгибались на синем снегу в странных болезненных позах, а третий, стоявший спиной, поворачивал голову назад, оскалив старческую полуоткрытую

пасть с огромными голубыми клыками. Вдали подраумевались темные еловые верхушки на фоне зимнего неба и едва простирающейся кровавой луны. Единственное, что удалось передать немецкому рисовальщику на этом полотне, так это снег. Неестественная, страшная синева снега, как ни странно, удачно передавала жуткий холод во всех смыслах этого слова.

Зина сразу же сильно испугалась волков и попросила, чтобы картину убрали из ее спальни. Волков тотчас же перевесили в коридор. Долгое время девочка боялась ходить мимо нее, закрывала глаза и чуть ли не бежала мимо нарисованных волков в туалет и обратно.

— Ты знаешь, Зина, — сказала однажды мама, — а я сегодня совсем случайно столкнулась на Мытном рынке с Дедом Морозом. Так вот, он сказал, что принесет в этом году подарки только смелым девочкам и мальчикам. А не всяким трусам и трусихам, которые боятся темноты, злых волшебников и нарисованных диких зверей.

— А как он узнает о том, что я боюсь волков? — недоуменно спросила девочка.

— Не знаю, как. Может быть, ему Клавдя уже рассказала.

Клавдя была домработницей, которая приходила убираться раз в неделю по воскресеньям, а вообще работала на фабрике «Красная Этна», где делала винты и заклепки для советских автомобилей. Клавдя сразу же выросла в глазах Зины оттого, что общается с самим Дедом Морозом.

— Так значит, я уже не получу подарки на Новый год? — расстроилась Зина.

— Я думаю, что получишь, — ответила мама. — Если перестанешь бояться того, что нарисовано на холсте масляной краской.

— Ну, конечно, Дусенька, — добавил папа. Почему-то он часто называл Зину Дусенькой. — Это же просто курам на смех — бояться нарисованных волков. Голодный немец сменял эту картину на полбуханки хлеба. Никогда не забуду этого страшного человека с распухшей губой, одетого в женскую шубейку.

— Не надо об этом при ребенке, — оборвала его мама. — Обещай мне, Зинчик, что перестанешь бояться волков, а я тогда, наверное, поговорю с Дедом Морозом, чтобы он приготовил тебе подарки.

Когда Зина стала школьницей, она уже не боялась этих волков, но картину продолжала не любить. Как странно, что из Германии, где столько великолепных полотен, папа привез только это недоразумение. Она не могла поверить, что Игнатий Николаевич просто пожалел голодного немца в женской шубе, потому и взял этих волков, а оставлять картину в воинской части не захотел, поскольку все что-то везли из Германии. Почему бы и ему не взять что-нибудь на память?

В конце девятого класса Зина снова сильно испугалась. Причина была вполне реальная, куда серьезней немецкой картинки. Папа оказался дружен с самим академиком Мироном Вовси, который долгое время настойчиво и методически травил и уничтожал выдающихся деятелей нашего государства и Коммунистической партии. Зина помнила этого лысого пожилого еврея, чем-то похожего на соседа по коммуналке, бухгалтера Якова Ильича. Вовси полчаса сидел с папой на кухне и пил чай. Академик приехал в наш город на научный симпозиум, и было это сразу после войны, задолго до того, как его объявили врагом народа.

Однако о его визите к малоизвестному врачу, профессору кафедры внутренних болезней провинциального вуза Игнатию Коломенскому, сра-

зу стало известно компетентным органам. Не случайно двое мужчин средних лет в серых пиджаках и парусиновых шляпах внимательно изучали газеты, сидя на шатающейся скамейке в центре двора под американским кленом. Папу увезли на допрос в известное мрачное здание с зашторенными окнами, и вернулся он оттуда только на третьи сутки — усталый и осунувшийся. Мама сказала Зине, что, возможно, за ним придут еще раз, а потом и нас тоже заберут и в лучшем случае переселят куда-нибудь подальше, например, в Сибирь. Девочка перестала спать ночами и уже тогда, когда «дело врачей» полностью закрыли «за отсутствием состава преступления», попала на прием к известному в городе психиатру Залману Борисовичу Блоху. Блох принес откуда-то куклу и велел Зине оторвать ей руки. «Рвите, рвите, деточка, это плохая кукла, — кричал он, — она наводит этими руками страх. Оторвите руки, деточка, и ваш страх исчезнет навсегда». Но страх не прошел и после этой садисткой процедуры, и тогда Залман Борисович дал Зиночке маленькие таблеточки, от которых страх постепенно прошел, но очень сильно хотелось спать.

А потом и настоящее несчастье произошло, и на этот раз с мамой. За какие-то несколько месяцев она перестала сначала ходить, потом говорить и умерла от жуткой болезни под названием «рассеянный склероз». Никакие связи профессора Коломенского не смогли поставить на ноги несчастную женщину. Так и закончилось все центральным городским кладбищем, на краснорипичной дореволюционной ограде которого какой-то остряк написал мелом: «Граждане СССР имеют право на отдых. Конституция СССР, статья 119». Среди родственников профессора и его покойной жены ходила и до сих ходит некая легенда, согласно которой Игнатий Николаевич, едва сдерживая слезы, поклялся у смертного одра супруги посвятить оставшиеся годы жизни исключительно Зине и другой семье не заводить. Во всяком случае, если обещание было дано, то слово свое майор медицинской службы сдержал. Без отношений с женщинами он, разумеется, не обходился, но Зина о них и не догадывалась, хотя она к тому времени давно уже ребенком не была.

И вот тут интересное явление произошло, объяснить которое способен разве что какой-нибудь Карл Юнг, Альфред Адлер или Зигмунд Фрейд, на худой конец. Отказавшись (хотя бы формально!) от личной жизни, Игнатий Николаевич стал требовать от дочери аналогичного поведения. Хотя внешне, конечно, никогда об этом не говорил. Но стоило только показаться Зине в окружении молодого человека, сразу этот молодой человек подвергался очень тонким высмеиваниям и даже издевательствам со стороны пожилого профессора. Интересно, что внешне папа был образцом не только интеллигентности и порядочности, тактичности и щепетильности, но и редкой доброжелательности и общительности. Если очередной кавалер Зины ненароком оказывался у нее в гостях, профессор осыпал его всевозможными любезностями и расспрашивал обо всем на свете, демонстрируя таким образом свою доброжелательность и учтивость. Но как только дверь за кавалером закрывалась, Игнатий Николаевич сразу же провозглашал, что от парня пахнет луком (чесноком, мочой, дешевым солдатским одеколоном — нужно подчеркнуть!), что у него «интеллект ниже среднего», «деревенский акцент», «под ногтями собрались все бактерии Вселенной», «ширинка не застегнута», «манеры как у извозчика...» Словом, всегда находил какие-то недостатки. Зина сначала удивлялась, но соглашалась с отцом, поначалу пыталась спорить, а потом понимала, что папа был прав.

Читателю может показаться, что это было проявление ревности, родительского эгоизма, что Игнатий Николаевич делал так потому, что сильно любил свою дочь и жить без нее не мог. Так считали и все его родственники. В действительности же семья для него вовсе не была чем-то святым, и дочку свою он не особенно любил. Женщин он не любил тем более. В его донжуанском списке их было побольше, чем у Пушкина, не отказывал он себе в общении с ними и в военное время, разве только в начале войны, выбираясь из Ржевской мясорубки, месяца два не пользовался их вниманием. Был он, как мы говорили, хорошо воспитан, общителен, хорошо и со вкусом одевался, нервную систему имел крепкую, но в то же время и не грубую, был обходителен, предупредителен и даже нежен... Ну чем не дамский любимец? Но при всем при этом он глубоко презирал женщин, о чем те никогда не догадывались.

После смерти жены он сократил свои любовные приключения, уйдя в медицинскую науку и историко-архивные исследования, которыми занимался в качестве хобби. В конце жизни Игнатий Николаевич писал исторический роман о крупном матросском восстании в эпоху первой русской революции, чему был непосредственным свидетелем, будучи десятилетним ребенком. Ему приходилось часто ездить в Москву, работать в архивах и библиотеках. Зиночка помогала ему сортировать архивные материалы, перепечатывала в сотый раз рукопись. Наконец роман был успешно издан в «Воениздате», и даже художественный фильм сняли по его сюжету.

Именно папа и устроил Зину на работу в библиотеку военного госпиталя, где почти ничего не надо было делать. Она исправно заполняла карточки на поступающие книги, разносила книжки лежащим больным, заходила с ними бесконечные платонические романы, которые подробно описывала в дневнике. Все эти романы не слишком глубоко волновали молодую женщину. Только одно серьезное любовное увлечение было в ее жизни. Но и тут серьезно помешали немецкие волки на снегу.

С Андреем Ермолаевым она дружила еще в детстве, часами гуляла с ним во дворе. Андрей был необычным мальчиком. Он дружил не только с мальчишками, но и девочками, с удовольствием играл с ними в «дочки-матери», раскладывал на гнилых скамейках пластмассовую посудку, делал салаты из стебельков одуванчиков. Как настоящий мужчина, он частенько чинил сломанных кукол, искусно соединяя их ножки и ручки с розовым туловищем при помощи резинки от трусов, вставлял выбитые глаза, приклеивал волосы. У мальчика явно были технические и изобретательские способности, которые проявились в дальнейшем. Зиночка успела проучиться с Андреем в одном классе, но тут его папу, майора-танкиста, неожиданно перевели в Калининградскую область. Танкист уже успел выйти в отставку и умереть от рака кишечника, а Андрей — закончить автотранспортный техникум, прежде чем они с мамой вернулись в родной город, где Ермолаев поступил в политехнический институт на автомобильный факультет. Зина встретила его в хлебном магазине и была очень удивлена. Андрей сильно изменился, стал похож на известного артиста Николая Рыбникова. Он не только внешне был похож на героя киноэкрана, но еще больше напоминал по своему характеру героев Рыбникова — простых советских парней, честных, прямых и открытых. В хлебном магазине они выпили по стакану томатного сока с комками соли «Экстра», которую долго размешивали маленькими алюминиевыми ложками и все не могли размешать (в помещении магазина работал кафетерий),

прогулялись немного по центральной улице города, где возле памятника Якову Свердлову предложил ей Рыбников посетить кинотеатр.

— Папа, а ведь правда, что Андрей стал похож на Николая Рыбникова? — спросила как-то Зина профессора.

— Скорей на его героев, — ответил Игнатий Николаевич. — Настоящий бригадир, работяга. Тупица пролетарская.

— Ну и что в этом плохого, папа? Даже если работяга. Я ничего не имею против рабочих.

— А разве я против рабочих, Дусенька? — ответил профессор. — Я в такой же степени за рабочих, как и за крестьян, а еще в большей степени за вышеупомянутый союз между этими классами. Просто этот новый твой ухажер похож на бригадира. Не кочегары мы, не плотники, а мы киношные работники...

Игнатий Николаевич как-то особенно невзлюбил Ермолаева, хотя, когда Андрей приходил к ним в гости, как-то подчеркнуто вежливо общался с ним. Папа чувствовал отношение Зиночки к Ермолаеву, и это ему не нравилось. Через полгода Ермолаев сделал молодой женщине предложение.

— Папа, Андрей сделал мне предложение, — краснея, произнесла Зиночка, теребя в руках махровый пояс халатика.

— Интересно, какое это предложение? — спросил профессор. — Сложносочиненное или сложноподчиненное?

Шутка не совсем удалась, и они оба понимали это.

А между тем время шло, и Андрей требовал от Зины конкретного ответа. Он был романтичным советским юношей, и желание создать свою семью вовсе не мешало мечтам о дальних странствиях и путешествиях.

— Если ты не готова ответить на мое предложение, — сказал ей как-то Ермолаев, — то я поеду в геологическую экспедицию и вернусь где-то через полгода. За полгода ты должна что-нибудь решить. Может быть, и папа передумает. Ведь он наверняка желает тебе добра!

— При чем здесь папа? — искренне ответила Зина, но голосок ее как-то фальшиво задрожал.

Вернувшись домой, она вдруг обнаружила, что взгляд одного из волков чму-то похож на взгляд папы, когда он ей бывает недоволен.

— Папа, давай уберем куда-нибудь эту картину, — сказала она. — Ты же знаешь, как я не люблю ее.

— Но мне она нравится. И это мое воспоминание о Германии. Как бы то ни было, а Германия — лучшая часть моей жизни. Мы тогда победили нашего врага и были уверены, что вернемся в другую страну. Но страна осталась прежней. Те же волки.

Конечно, Зиночка не хотела, чтобы Андрей уезжал. Но ответить на его предложение она пока не могла и даже чуточку была рада тому, что теперь можно как-то отдохнуть и не думать над решением этого очень важного вопроса.

Сначала Ермолаев писал ей каждый день, а иногда и дважды в день. Зиночка отвечала на каждое письмо своего друга, причем ее послания были куда подробней, живее и эмоциональнее. Спустя два месяца письма от Андрея стали приходить все реже и реже, а потом дней десять не приходили вообще.

Наконец пришло то самое письмо, на конверте которого почему-то было написано «Сочи» и была нарисована красивая развесистая пальма. Но прилетело письмо как раз не из южного Сочи, где темные ночи, а из

далекого города, находящегося за полярным кругом, где, впрочем, ночи еще темнее и длиннее.

Андрей писал, что работа в экспедиции позволила ему изменить взгляды на жизнь, и что он теперь очень хорошо понимает, что такое дружба, преданность и даже любовь. И понять это ему помогла простая советская девушка Тося, медсестра, мечтающая стать нейрохирургом. Тося любит Андрея и скоро родит ему ребенка. А сам Андрей пока еще не разобрался, как он относится к Тосе, но у него есть чувство ответственности за свои поступки. Тося полюбила его, доверилась ему и связывает с ним свое будущее. И он не может теперь не оправдать ее надежды, поскольку он комсомолец и настоящий друг. «Представляешь, Зинка, — писал Андрей в этом письме, — вот мы приходим с работы усталые, грязные, потные, но мы знаем, что наши девушки родят нам детей, которые уже не будут знать, что такое деньги! Мой сын (или дочь?) будет жить при коммунизме! Будь счастлива, Зинка! С комсомольским приветом, Андрей Е. Привет от меня твоему профессору».

Зина разорвала письмо на мелкие кусочки и бросила их в унитаз. Кусочки долго не смывались. Уже и вода в бачке закончилась, а две бумажки так и прилипли к стенке старенького, треснутого посередине голубоватого унитаза. Игнатию Николаевичу она не стала рассказывать об измене Андрея, не хотела слышать привычное: «Вот видишь! А что я тебе говорил!»

Игнатий Николаевич, кстати, так ничего про Андрея и не спросил. Но еще пятнадцать лет задавал Зине постоянные вопросы, совсем на другие темы. А потом перестал. Причина тому была самая что ни на есть понятная и материальная — ишемический инсульт в бассейне левой средней мозговой артерии лишил его возможности задавать какие бы то ни было вопросы. А от повторного инсульта папа скончался.

И осталась Зиночка одна. Ей в то время было только сорок четыре года. Возраст, конечно, не слишком молодой, и для какого-нибудь Пушкина или Дельвига была она чуть ли не старухой, а вот для нашего времени сорок четыре года для женщины — самый что ни на есть расцвет. Тот возраст, когда еще желания сильны, а в то же время уже и опыт есть, и на мякине не проведешь. Но вот какая интересная история произошла с Зинаидой Игнатьевной. Когда папа ушел из жизни, жить ей стало гораздо тяжелее, и никакой свободы она не ощутила. Если она знакомилась с каким-нибудь новым человеком, читала новую книгу, смотрела новый фильм, то всегда думала только о том, как посмотрит на этого нового человека, на эту книгу или фильм папа, и всегда находила в том или ином явлении новые и новые недостатки. Она каждый день проходила по коридору мимо страшных волков на синем снегу и понимала, что никогда не сможет избавиться от этой картины, потому что она так была дорога папе.

С мужчинами Зина встречаться перестала. Она вдруг поняла, что найти нормального мужчину, такого, как Игнатий Николаевич, просто нереально — такие мужчины всегда были на вес золота. Все они давно уже разобраны, давно женаты, пристроены, а поскольку они интеллигентные и порядочные, то и женам своим не изменяют, не ищут бесполезных и пустых связей на стороне, а сидят дома и готовят с детьми школьные задания. А остались только всякие алкоголики, психопаты, разведенные и прочие недоделки. С годами Зиночка все больше и больше стала походить

на своего папу — появилось в ней и высокомерие, и нетерпимость к людям. И если высокомерие профессора можно еще было хоть как-то оправдать, то высокомерие больничной библиотекарши и книгоноши — вряд ли. Коллеги не любили Зинаиду Игнатьевну, а она совсем не замечала этого, потому что внешне относились они к ней доброжелательно.

Поэтому и день своего ухода на пенсию пожилая женщина восприняла так болезненно. А ведь начало этого дня было самое что ни на есть торжественное. Начальник госпиталя, пожилой полковник, вручил Зинаиде Игнатьевне почетную грамоту в красивой деревянной лакированной рамочке, поблагодарил за долгие годы работы в библиотеке, обнял ее, поцеловал в щеку и сказал:

— А теперь я хочу представить вам нового нашего сотрудника, Ольгу Юрьевну. Она будет работать на ставку Зинаиды Игнатьевны и еще на полставки гардеробщицы. Ольга Юрьевна учится в нашем университете на вечернем отделении.

Из зала вышла на дощатую сцену молодая длинноногая блондинка в короткой юбке. Зиночка сначала не поняла, почему это на ее ставку будет кто-то работать. После собрания подошла к Петру Семеновичу, произнесла, заикаясь:

— Я не совсем поняла, наверное... Что значит — на мою ставку?

— Как что? — улыбнулся полковник. — Вы же уходите на пенсию. Кстати, вам надо сегодня заявление написать. «Прошу уволить меня по собственному желанию».

— Но... у меня нет такого желания, — пролепетала библиотекарша. — Я хотела бы работать.

— Ну и работайте! Конечно, работайте, Зинаида Игнатьевна! Хотите, я дам вам полставки гардеробщицы? Рабочий день всего два часа — с четырех до шести!.. А в библиотеке у нас, к сожалению, вакансий нет. Вы пенсионер, и надо молодым дорогу уступать. Ну, как в хорошей песне поется: «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет».

— Какую дорогу? Можно подумать, я в английском посольстве работаю! — завизжала Зиночка. Тема английского посольства была у них семейной. Игнатий Николаевич, например, всегда об английском посольстве говорил, когда хотел подчеркнуть важность того или иного объекта. — Кому я дорогу перекрыла? Этой пигалице длинноногой? Думаете, она лучше будет книжки носить?

— Конечно, лучше, — ответил Петр Семенович. — Больные будут смотреть на эту красавицу и... скорее выздоравливать! Такие, как она, в коллективе нужны. А в гардеробе может и старушка сидеть.

— Но ведь вы только что ее и в гардероб определили.

— Да, но только на полставки. С утра и до двенадцати. А с двенадцати до четырех в библиотеке работать. А потом она на учебу будет уезжать, а вы после тихого часа приходите. Согласны?

В тот же день Зинаида Игнатьевна написала заявление по собственному желанию и швырнула его в жирную лоснящуюся харю полковника медицинской службы. Дома она вынула грамоту из рамки, разорвала ее на мелкие кусочки и спустила эти кусочки в унитаз — точно так же поступила, как и с письмом красавца Ермолаева, который так был похож на актера Рыбникова.

С тех пор Зинаида Игнатьевна нигде не работала, так и жила на свою нищенскую пенсию. Каждый день она смотрела, идя в туалет, на трех отвратительных волков. Она давно мечтала избавиться от этой картины,

но память о папе мешала ей это сделать. «Ну как же, — думала она. — Папа вез эту картину в стальной вагон из далекой Германии в подарок мне и маме. А мы тогда еще жили в коммуналке. Он так хотел, чтобы наша жизнь стала красивее, ярче! Он мечтал об этом. Пусть висит на своем месте, а вот уж после моей смерти пусть делают с этой картиной все, что хотят».

Однажды в дождливый октябрьский день, когда суровое осеннее небо не дает никаких гарантий на просветление, Зинаида Игнатьевна стала думать о том, кто же все-таки будет распоряжаться всеми ее вещами (да и нарисованными волками, в частности!) после того, как она уйдет в лучший из миров. Ей бы не хотелось, чтобы это были случайные люди. Выбор пал на внука маминой сестры, Юрия Всеволодовича Хитрово. Внешний вид подтянутого молодого человека, военный мундир, дворянская фамилия, вежливая изысканность в общении — все эти нюансы сыграли свою роль в Зиначкином выборе. А главное, Юрочка был очень похож на папу внешне.

Подполковник авиации, а в недавнем прошлом освобожденный комсомольский работник авиационного завода не отказался унаследовать двухкомнатную сталинку в центре города. Завещание оформили у нотариуса. Хитрово впечатлился настолько, что изредка, на праздники, переводил старушке некоторую сумму денег на мороженое. Однако он отказался не столь деликатен, как поначалу предполагала Зиначка. Завещанную квартиру предложил подарить своему сыну-подростку, дабы освободиться от налогов, которые полагались бы ему при вступлении в наследство. Но быть хозяйкой квартиры, которая кому-то завещана, и жить в подаренной кому-то квартире до смертной доски — как говорят в Одессе, две большие разницы. Зиначка обиделась на Юрика и тотчас же аннулировала завещание. Хитрово сделал шаг назад: дескать, не хотите — и не надо, я и на завещание согласен. Но он был совсем не Хитрово, а скорее Дурново, а точнее, Дураково. С Зиначкой так общаться было противопоказано. После истории с Юриком Зинаида Игнатьевна решила больше никаких завещаний не оформлять. Пусть чиновники из администрации ее квартиру делят и друг другу глотки грызут, как волки на картине голодного немца.

Однажды ей тяжелый сон приснился. Будто она маленькой девочкой идет по руинам разрушенного города и ест холодный свежевыпавший снег. А рядом — обугленные остовы домов и соборов.

Навстречу идет непонятное существо — то ли женщина, то ли мужчина, — одетое в старую рыжую цигейковую шубку. Шубка была явно женская, а вот фигура скорей всего принадлежала мужчине.

Существо приблизилось к ней, и Зиначка поняла, что это был странно одетый пожилой мужчина с нелепым клетчатым шарфом, повязанным возле лба. На ногах его были непарные солдатские сапоги, один выше другого.

— Was ist das für eine Stadt, Herr?

— Das ist Dresden. Schau dir an, wie seine Bastarde den Briten bombardierten. Hübsches Mädchen, kaufen Sie mein Bild. Das sind Wölfe. Wölfe auf dem Schnee...

— Nein, mein Herr. Не нужны мне ваши волки. Я их боюсь!

— Но ведь и я тоже боюсь, моя девочка, — заговорил он вдруг по-русски, совершенно правильно, но с каким-то карикатурным немецким акцентом. — Да, я тоже боюсь. А больше всего я боюсь, что в небе появятся

эти ужасные английские самолеты! Они ничего не оставили от моего города. Почему, зачем? Ведь война уже закончилась. Я знал, что фюрер — катастрофа для Фатерланд. Мы получили по заслугам. Но почему они это сделали сейчас, когда всем давно стало ясно, что мы проиграли эту войну?! Может быть, все-таки купите моих волков?

— Я понимаю вас, господин. Вы хотите избавиться от своего страха, передав его мне. Но чем провинилась перед вами я? Я простая советская девочка. Мой папа — врач и офицер Советской армии. Моя мама — красавица и домохозяйка. А кто вы? Я не знаю вас.

— Ich bin ein Künstler, ich bin ein armer deutscher Künstler... Именно так. Бедный немецкий художник. Возьмите, возьмите волков. Не надо денег, только полбуханки хлеба.

— У меня нет хлеба. У меня ничего нет.

— Все равно ты их возьмешь, противная девчонка. Ты еще не понимаешь, кто я?!

Зиночка посмотрела на немца и увидела перед собой ведьму. Классическую ведьму с картины Дюрера, только метлы у нее не было.

Зиночка проснулась в таком ужасе, что не смогла заснуть до самого утра. А после завтрака начались у нее боли под ребрами справа, и такие жуткие, что пришлось вызывать скорую помощь.

В больнице, готовя к операции, ей сделали много всяких обследований, и одно из них выявило непонятное образование в полости сердца. Врач сказал, что это, возможно, миксома — опухоль сердца, и поэтому операцию пока придется отложить. Эти два слова — «опухоль сердца» — совершенно убили несчастную женщину. Она никак не могла оторваться от того ужасного сна, который ей снился до больницы. В палате вместе с ней лежала женщина, которая часто ездила за границу от туристических агентств, была она и в Дрездене. Женщина рассказывала о том, как потрясли ее черные камни домов этого города, которые перемешаны с камнями другого цвета. «Такое ощущение, что их специально не красят в память об этой жуткой бомбардировке», — сказала она.

Зиночка в тот момент думала только о своем несчастном сердце и только об опухоли, которая скоро прорастет во все ее внутренние органы.

Страх продолжался дней пять, пока из научной командировки не вернулся лысый и картавый профессор медицинского университета, специалист по магнитно-резонансной томографии. Взглянув на снимок, он сказал, что это вовсе не миксома, поскольку располагается не в предсердии, а в желудочке сердца. И что вообще это всего лишь аномалия развития сосочковой мышцы эндокарда, и никаких противопоказаний к удалению желчного пузыря у Зиночки нет.

Желчный пузырь ей успешно удалили — и самым щадящим методом, однако страшные дни, проведенные в больнице, мимо нее не прошли.

А через несколько лет и новая загадочная болезнь объявилась, которая косила всех подряд, и особенно страшна была для стариков. Однажды в лифте Зинаида Игнатьевна встретила соседку с лестничной площадки, свою ровесницу Галину Тарасовну Староприходько.

— Куди ж вы попрямували! — чуть ли не закричала Староприходько. — Ви шо, хйба не знаєте, шо заборонили виходити з дому! Коронавирус!

— Но ведь я в магазин иду, — ответила Коломенская. — Магазины тоже посещать нельзя?

— Не можна! — по-свинячьи заверещала Галина Тарасовна. — А на вулице не можна быть без масок и рукавичок!

Сначала Зинаиде Игнатъевне все это казалось большим сумасшедшим домом. Но когда два румяных росгвардейца, изнемогая от скуки, остановили ее на улице и стали угрожать штрафом, старушка подумала о том, что, возможно, в их поведении есть какая-то логика.

И она стала панически бояться этого вируса. Приходя из магазина, по полчаса мыла руки горячей водой, носила по три маски, которые каждый день кипятила в ковшике на плите. Сначала объявили неделю выходных, потом еще три недели, а затем и еще десять дней. Люди стали спиваться и бить своих детей.

И вот однажды, вернувшись с рынка, Зинаида Игнатъевна увидела, что забыла закрыть дверь на лоджию. В квартире стало очень холодно. Коломенская закрыла дверь, пошла в ванную, долго держала руки под струей горячей воды. А когда вернулась в комнату, то неожиданно для себя ощутила, что теплее не стало.

Зиночка вдруг почувствовала, что все ее тело дрожит и зуб не попадает на зуб. Неужели она заболела? А может быть, это тот самый коронавирус пришел за ней с косой в руках, и теперь она отправится в реанимацию, где будет долго задыхаться и умирать? Она почувствовала, что не может выдохнуть, и в глазах у нее потемнело.

Из аптечки вынула ртутный градусник, села с ним на кровать. Поддержала градусник ровно десять минут, как учил ее папа. И — о ужас! — температура оказалась 38 и 6 десятых градуса...

Зиночка не спала всю ночь, шатаясь по квартире. Она ни минуты не сомневалась, что это и есть тот самый роковой коронавирус и, стало быть, полный конец ее жизни. Утром измерила температуру вновь. Градусник показал 37 и 9. Недолго думая, стала звонить в поликлинику. Объявила регистраторше, что у нее коронавирус и она умирает.

Медики пришли только вечером — врач и медсестра, одетые в космические скафандры. Медсестра взяла у Зиночки мазки изо рта и носа. Врачиха долго слушала легкие и вяло проговорила, что пневмонии у Зиночки нет и госпитализация ей не показана. Выписала арбидол и гриппферон и попросила позвонить в поликлинику через пять дней, чтобы узнать результат анализа.

Когда они ушли, Зинаида Игнатъевна вновь измерила температуру. И опять она была 37 и 9. Прошлая бессонная ночь сказалась на общем состоянии Зиной, и в десять часов вечера она уже спала. А когда на следующее утро измерила температуру, то градусник показал 37 и 5.

«Так, может, это еще и не конец?» — стала думать Коломенская. Старушка долго тыкалась в современный айфон, целый день читала статьи о коронавирусе. Есть она ничего не могла уже второй день, и понятно почему — при коронавирусе всегда пропадает аппетит. А у некоторых даже обоняние!

Вечером градусник показал 37 и 2, а на следующее утро температура стала нормальной. Радостная Зиночка вновь отправилась в магазин, позабыв о перчатках и маске. Она вдруг перестала бояться этого вируса!

Однако только выйдя на улицу, ощутила, что болезнь не прошла. Ноги были ватными, и путь до магазина показался нескончаемым. Войдя в «Пятерочку», Зинаида Игнатъевна почувствовала, что вся обливается потом.

Через несколько дней ей позвонили из поликлиники и сказали, что тест на ковид оказался положительным. «Извините, — ответила Зиночка. — Но это должно быть, ошибка. — У меня прошла температура».

Она вновь потянулась за градусником. Температура была 37 и 3. Еще недели две старушка чувствовала себя довольно паршиво, с трудом ходила в магазин, однако в то же время совсем не задыхалась, о чем постоянно твердили по телевизору. Однажды ей позвонила врач и велела вновь сдавать тест. Зинаида Игнатъевна воспротивилась.

— Не верю я всем этим тестам, — сказала она. — Определили коронавирус, а в действительности обычная болезнь, вроде гриппа.

Но врачи настояли, и Зиночка вновь сдала мазки. Тест оказался отрицательным. Зинаида Игнатъевна была реалисткой и терпеть не могла, когда ее дурачили. Она вдруг ясно стала понимать, что опять оказалась жертвой чудовищного обмана. Сомнения развеяла Софья Исааковна, старший научный сотрудник института эпидемиологии. Она тоже жила в одном доме с Зиночкой. Софья Исааковна была очень уважаема нашей героиней. Зинаида Игнатъевна знала ее покойных родителей — медицинских профессоров, покойного мужа, известного в городе адвоката Зильберблатта, который виртуозно называл снег черным, а уголь — белым, когда того требовали интересы платежеспособного клиента. Так вот Софья Исааковна и рекомендовала Зиночке сходить в их институт и сдать кровь на антитела к коvidу. «И вам на сто процентов скажут, дорогая, был у вас ковид или нет».

Чтобы поставить все точки над «i», Зинаида Игнатъевна потащила в институт эпидемиологии. Дважды упала на голом льду, вошла сначала не в те ворота, поссорилась с отвратительным солдафонистым охранником. Наконец, оказалась она в маленькой чистенькой комнатке, где толстая и доброжелательная медсестра Елена взяла у нее кровь из вены.

А через неделю ей позвонили из института и сказали, что у нее в крови — огромное количество антител к коvidу. На этот день и час Зинаида Игнатъевна была уже достаточно образована — и она вдруг отчетливо поняла, что все, что с ней происходило, и был тот самый ковид, которым вот уже год пугали с телеэкранов население огромной страны.

Боже мой! Она так боялась этого коронавируса! А он оказался всего лишь волками, намалеванными на старом немецком холсте... Как все это отвратительно, как грязно и как жалко!

Вся жизнь промелькнула у нее перед глазами. И мама, и папа, и лысый академик Вовси, и Ермолаев-Рыбников, и начальник госпиталя, и бесконечный страх заболеть. Почему всю жизнь ее только пугали? Почему она всегда так подвергалась этим страхам?

Зиночка смотрела на свои сухие, высохшие ручки с тоненькими чернильными ниточками подкожных вен и горько плакала.

Почему ее никто никогда не любил?!

В этот день она сняла со стены картину с волками и отнесла ее к мусорному контейнеру.

Минут через десять проходящий мимо бомж Сергей взял картину подмышку и понес ее на продажу в магазин к знакомому антиквару.

— Не возьму я это, Серый, — вежливо сказал антиквар. — Бездарно нарисовано. И не важно, что сорок четвертый год. Страшно смотреть на эту мазню. Сразу видно, фашист рисовал.

Я теперь почти каждый день езжу по этой улице. С одной стороны — суровое и страшноватое в своей суровости здание областной прокуратуры, с другой — унылые блочные, похожие друг на друга, как оловянные солдатики из одной упаковки, девятиэтажки. Эти дома построили в начале восьмидесятых, а тогда, когда я ходил домой к Лене Осокиной, на улице Ижорской нежно прижимались друг к другу гнилые убогие двухэтажки. В одной из них, на втором этаже, и обитала Лена. Семья у нее была самая обыкновенная — папа, мама, бабушка. Квартиру ее я плохо помню. Запомнилась только длинная скрипучая деревянная лестница на второй этаж и комната, оклеенная нелепыми советскими обоями с изображением круглых коричневых электрических розеток, в которой мы мучали старенькое черное пианино «Волга», пахнущее почему-то валерьянкой.

Честно говоря, никогда бы я у Лены в гостях не побывал, а стало быть, и рассказ этот не появился бы на свет Божий, если б не наша учительница, Вера Александровна Тарасова, а попросту Тарашка, как ее называли в музыкальной школе. Кстати, Вера Александровна совсем не заслужила такое уничижительное прозвище. Оно было связано вовсе не с ее фамилией, как зачастую бывает, а с безумными витаращенными из орбит глазами яблоками — Тарашка страдала тиреотоксикозом. Она настоятельно требовала, чтобы мы с Леной репетировали в свободное от занятий время. Ансамбль — предмет особый, коллективный. Здесь мало личного старания. Если твой партнер не знает свою партию — пиши пропало. Когда вопрос о том, кто к кому должен ходить для совместных занятий, был поставлен ребром, решено было, что ходить к Лене буду я, поскольку она жила на одной улице с музыкальной школой и, стало быть, мне было куда проще забежать к ней после очередного урока, чем ей тащиться ко мне в центр города.

Лена в ту пору была смешлива, улыбчива и довольно толста. Две крупные косицы обрамляли ее прыщавую физиономию, на шее прорисовывался второй подбородок, а на голове всегда был завязан огромный бант алого цвета. До сих пор не понимаю, куда пропала ее толщина в дальнейшем. Возможно, женские гормоны расщепили избыток жира на бедрах, животе и заднице. Хотя и в свои четырнадцать лет она не страдала недостатком гормонов и как женщина вполне сформировалась.

Музыка ее совсем не интересовала. Однако то положение вещей, которое было инициировано Тарашкой, неожиданно понравилось ей.

Обычно Осокина выходила из своей комнатки очень легко одетая. Я тогда не понимал еще, что делалось это исключительно ради меня. Она использовала меня как лабораторную крысу — ради своих женских экспериментов. Как-то Лена специально не застегнула две нижних пуговицы на халате и вальяжно развалилась на вращающемся коричневом стульчике возле пианино. Когда я, разучивая в сотый раз вторую партию польки Рахманинова, смотрел на колечки рыжих волос внизу ее живота, она как-то неестественно, театрально смеялась. А однажды посмотрела мне в глаза и сказала как-то грубо и отчаянно: «А хочешь, я тебе все покажу?» Я сделал вид, что ничего не понял, и на-

пряженно усталится в ноты. Однако эти слова, разумеется, сохранила отеческая память.

И тут в комнату неожиданно вошла бабушка. Она вдруг вся вспыхнула, увела Лену на кухню и долго что-то внушала ей. Когда Осокина вернулась, курчавый лобок был надежно прикрыт старенькими, дырявыми на коленках, коричневыми колготками.

— Вот и все, — сказала она, смеясь. — Упустил возможность.

Я тогда решил, что все девочки такие. Решил потому, что просто не с кем было сравнивать. И вот после очередного разучивания вышеупомянутой польки и арии Фигаро («Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный») она неожиданно пригласила меня вечером погулять по городу.

— Я обычно во дворе гуляю, — ответил я.

Лена дико захохотала мне в ответ.

Но прогулка все-таки состоялась. Уже тогда Лена была настойчива, и это качество с годами у нее только прогрессировало. Во время гуляния она говорила про какие-то свадебные платья, которые шила ее родственница, о неизвестных мне мальчиках-актерах, об индийских фильмах, которые я не любил. Мне было откровенно скучно с ней. В мае мы сдали экзамен по ансамблю. Мне поставили четыре, а моей партнерше — три с плюсом. Она покатывалась от приступообразного смеха и повторяла, что нет нелепее оценки, чем три с плюсом. «Смешнее может быть только два с плюсом», — внушала она мне. Я возражал, говоря, что и единица с плюсом — это тоже смешно. Лена не соглашалась, подчеркивая, что единицу не ставят в дневниках, поэтому это вовсе не оценка.

В сентябре я узнал, что Осокина покинула музыкальную школу — ушла, не доучившись один год.

«Она объявила, что никогда не любила музыку», — сказала мне Тарашка, которая теперь вела у меня аккомпанемент. На занятия приходила старая костлявая певица, которая заливалась «Соловьем» Алябьева, обнажая отвратительные золотые коронки. Тогда, глядя на эту живую рекламу стоматолога-ортопеда, я впервые пожалел, что Лена ушла из музыкальной школы: смотреть на волосатый лобок прыщавой ровесницы было на порядок интереснее и приятнее, чем на это зубоврачебное чудо.

А весной следующего года, когда я заканчивал седьмой класс, неожиданный выброс гормонов произошел и у меня. Так вот получилось, что Лена опередила меня в этом направлении на год-полтора. Золотистый курчавый равносторонний треугольник внизу живота я уже вспоминал не с интересом экспериментатора, а с каким-то новым, еще не известным мне чувством. В начале апреля умопомрачительно таял снег, по улицам нельзя было ходить из-за огромных нечеловеческих луж. Я носил тогда большие бабушкины резиновые сапоги и думал исключительно о Лене Осокиной. И почему еще год назад я совершенно не хотел воспринимать ее поползновения, почему я тогда не нуждался в них? Надо было срочно исправлять ситуацию. И действительно, зачем было искать кого-то, если на улице Ижорской живет такое сексуальное чудо?

Наконец я решился и после занятия по музыкальной литературе отправился на Ижорскую. В ушах еще гремел знаменитый марш из первой части «Ленинградской симфонии», о которой вещала беременная красавица Ревекка Моисеевна по прозвищу Суламифь, и под напористое тре-

моло маленького барабана (tamburo militare) резко позвонил в знакомый черный прямоугольный, заляпанный голубой масляной краской звонок, висящий на одиноком белом проводочке.

«Кто?» — послышался скрипучий голос бабушки-пуританки. Я вспомнил историю с коричневыми колготками и почувствовал, как часто забилося под старым свитерком крупной домашней вязки отроческое сердце.

«Войдите и поднимайтесь, а то мне трудно по лестнице спускаться» — проскрипела старушенция. Я помню только, что у нее было какое-то замысловатое островское имя и отчество, что-то вроде Домны Теофилактовы. По скрипучей, пахнущей кошачьей мочой деревянной лестнице я поднялся на второй этаж, споткнувшись на грязном столетнем пыльном половике.

Оказалось, что Лена уже три месяца назад уехала с родителями в город Хабаровск. Папу ее, подполковника-танкиста, перевели в Дальневосточный военный округ. Но это ненадолго, успокоила меня бабушка, поскольку через три года подполковника должны были отправить в отставку по возрасту. И тогда семья Осокиных опять вернется сюда, на Ижорскую, если дом, конечно, не сломают.

С чувством глубокого разочарования спускался я по лестнице вниз. «Упустил возможность», — вспомнил я в который раз слова прыщавой Лены, и мне стало обидно до слез. Весна тревожила молодую кровь, всю орали мартовские коты, гоняясь за кошками, и я тогда совсем еще не понимал, что это было самое-самое начало жизни, той самой единственной и неповторимой жизни, которую можно было устроить и построить совсем иначе, чем построил ее я.

2

Уже тогда, разыгрывая знаменитую арию Фигаро на улице Ижорской, я понимал, что Лена Осокина в жизни моей — не случайная переменная величина, а явление знаковое. Она была послана мне свыше для того, чтобы я открыл одну из тайн непонятной еще мне жизни. И я ни минуты не сомневался, что обязательно встречу ее — рано или поздно...

Случилось это неожиданно и в том самом месте, где я как раз и не ожидал встретить Лену. Провинциальный музей, авторский вечер местного поэта. Публика элитарная, творческая и немногочисленная. Молодая поэтесса представила мне свою подругу.

Передо мной стояла фотомоделль. Изумительная фигура, правильные черты лица, длинные ноги. Только бедра были немного широковаты, ну совсем чуть-чуть. Я не сразу узнал ее. Да, это была Лена Осокина. Куда подевались все ее жиры, я не понимал.

— Ну как, — спросила она. — С пианино пыль сдуваешь?

В те годы я ежесдневно играл на пианино, о чем рассказал Лене.

— Не верю, — отрезала она решительно. — Ты же в музыкалке звезд с неба явно не хватал. А как Тарашка тебя ругала! Помнишь, мы с тобой играли

— Хорошо помню, — не растерялся я. — Так может, еще сыграем как-нибудь?

— Женя! Как ты изменился! — сказала она. — А когда-то ты мне казался таким маленьким, мечтательным, нерешительным, не от мира сего.

Через день я уже понял, что за эти годы Лена набралась такого опыта в известных отношениях, о котором мне предстояло только мечтать.

События развивались стремительно. Жила Лена теперь в том же районе, что и раньше, в полукилометре ходьбы от места, где стояла ее сломанная двухэтажка, — на улице Генкиной, в трехкомнатной квартире. Бабушка в ту пору уже сильно болела и практически не выходила из своей комнаты, мама работала неподалеку, в глазном отделении тридцать пятой больницы, а демобилизованный подполковник преподавал на военной кафедре в строительном институте. Обстановка на этой военной кафедре, как я понял, была совсем не военная, поскольку папа мог прийти домой в самое неожиданное и неподходящее время — в середине дня, например, и нам с Леной приходилось срочно прерывать свои любовные упражнения.

Однажды после такого неожиданного, около двенадцати часов дня, возвращения папы с работы Лена предложила мне съездить в пансионат «Буревестник» на Горьковское море, где нам уж явно никто не будет мешать общаться друг с другом.

Оказавшись в пансионате, я понял, что Лена совершенно не подходит мне по темпераменту. Одно дело встречаться на квартире один-два раза в неделю, а другое — проводить вместе несколько дней подряд. В первый же день после завтрака мы долго наслаждались тем, что никакой папа не вернется с работы — настолько долго, что пропустили время обеда. В столовой нас, конечно, накормили остатками борща и голубцами.

Но после этого Лена захотела кататься на лыжах.

Катание продолжалось пять часов подряд. Я едва успевал за своей подружкой. Проехали в общей сложности километров двадцать по чистому полю без всякой лыжни, после чего Лена объявила, что все бы хорошо, но она хочет еще покататься с горок. Горок там, однако, почти не было, если не считать крутые склоны на берегу Волги. Когда я однозначно отказался кататься с этих склонов, Лена объявила, что в таком случае будет кататься с гор одна. Она несколько раз падала, растянула связки голеностопного сустава, разбила в кровь коленку.

После ужина моя девушка решила, что нам просто необходимо поплавать в бассейне. Честно сказать, посещение бассейна было для меня менее приятно, чем пятичасовая лыжная прогулка. Там было настолько холодно, что я даже не решился зайти в воду. Лена плавала два с половиной часа. Уже ночью она призналась мне, что купалась бы и больше, если б не дискотека, которую надо было обязательно посетить.

На дискотеке я сидел в углу и чувствовал, как засыпаю. Лыжная прогулка давала знать о себе. Лена танцевала до часу ночи. Когда во втором часу мы вернулись в номер, она заявила, что очень счастлива. «Ведь теперь мы можем заниматься сексом всю ночь», — сказала она.

Действительно, ночь прошла очень хорошо, ярко и нестандартно. Однако на следующий день повторилась то же самое — лыжи (на этот раз до обеда), большой теннис до ужина, потом бассейн и дискотека.

Слава Богу, впереди была последняя ночь. Моя подружка смилостивилась надо мной и где-то в три часа ночи объявила, что сейчас можно и поспать. Когда на следующий день после обеда мы стали собирать вещи, я был счастлив до безумия.

Через неделю она объявила, что познакомилась с хирургом из тридцать пятой больницы, который ухаживал поначалу за ее мамой, но, увидев однажды Лену на улице Генкиной, сразу же переключился на нее.

Лена вовсе не отправила меня в отставку. Она сказала, что от меня зависит, продолжатся наши отношения или нет, но встречи с хирургом сейчас для нее приоритетнее. К этому времени мой пыл немного поиссаяк. К тому же и как человек Осокина мне никогда не нравилась. Поэтому я решил воспользоваться этой ситуацией, чтобы закончить отношения. «К женщине надо найти подход, — часто повторял мой папа. — Но при этом надо уже обдумывать и возможные пути отхода». А тут ничего обдумывать не надо было. Все решилось само собой, появился хирург. И слава Богу. К тому же я понял окончательно, что мы с Леной живем в разных измерениях, и к ее жизненным темпам я приспособиться просто никогда не смогу.

3

Страшно сказать, но прошло тридцать три года! Илья Муромец все это время пролежал на русской облезлой печи, вдыхая запах потных хомутов, а я успел окончить два института, защитить две диссертации, жениться, развестись, воспитать ребенка.

И тут вдруг сообщение в «Фотостране»: «Привет, Женя. Как дела?» На фотографии, конечно, была она, моя Лена. Изменилась, конечно, — годы берут свое. Но такая же красивая, стройная. Пишет, давай встретимся, вспомним прошлое. У «Паруса», в четыре часа.

«Парусом» называлось известное кафе в центре города, излюбленное место студенческих посиделок. Мы с Леной в «Парусе» сживали не раз и не два, ели жирные куриные ножки и пили кофе с пирожными. Не важно, что никакого «Паруса» давно нет, и кафе теперь носит совершенно блеклое название «У Александра». Впрочем, можно было бы назвать его иначе — «У Сергея», «У Андрея», например. Ничего бы не изменилось, поскольку минимум для двух поколений моих земляков оно так и осталось «Парусом».

С возрастом меня все стало раздражать. Неужели я превращаюсь в ворчливого, вечно всем недовольного старикашку? В этот день меня раздражало, что в городе совершенно негде припарковаться. В конце марта образовались чудовищные, фантастические наледы, на которых стояли машины, как памятники на постаментах. Автомобиль удалось припарковать за полкилометра от «Паруса» в каком-то Богом забытом дворе, возле гаража, до половины облезлой двери которого возвышалась одна из вышеупомянутых причудливых наледей.

Вся улица была заставлена машинами, однако никакого движения на ней не было, даже пешеходов я не видел. У двери кафе мерзла старушка в короткой желтой курточке, одетая явно не по сезону. Короткая юбка, черные колготки, высокие сапоги на шнуровке. Какое-то странное сочетание старости и молодости. Я стал открывать тяжелую дверь заведения и вспомнил, что она и раньше была такой же тяжелой.

— Женя, ты что, не узнал меня?

Это говорила старушка. По-видимому, она обращалась ко мне.

Уже потом, анализируя свои тогдашние ощущения, я подумал о том, почему все-таки решил, что встретил у «Паруса» какую-то старую знакомую, которую не узнал, и совсем не подумал о том, что эта старушка и есть Лена Осокина. Ведь я не просто шел в это кафе, я шел на запланированную встречу. Через пять минут, сидя за овальным столиком, я понял, в чем дело. Лена выложила на сайт фотку пятнадцати-

летней давности. В сорок лет она еще совсем неплохо выглядела и была похожа на себя в молодости. А сейчас... Сейчас передо мной была ее бабушка, Домна Феофилактовна, — или как там ее звали в действительности.

Темперамент у Лены не изменился, да и понятно — такие вещи не меняются с возрастом. Она говорила и говорила. Я узнавал ее жесты, любимые выражения. Больше всего, наверное, изменился у нее голос. Он стал низким и хриплым, как у северной, портовой, вечно пьяной и простуженной проститутки.

У Осокиной развязался длинный шнурок на сапоге, и она начала педантично его завязывать. Нет, Лена совсем не изменилась внутренне, ее женская суть никуда не ушла. Я вспомнил арию Фигаро, польку Рахманинова... тогда ее руки, бегающие по клавишам, еще не были такими сухими, и подкожные вены не выпирали так уродливо.

— Ты знаешь, а ведь я так и живу в той же квартире на Генкиной, — сказала она. — Сын женился и уехал в Москву, столицу завоевывает. А я теперь одна в трех комнатах. Заходи как-нибудь... Адрес помнишь?

— Конечно, — ответил я. — Обязательно зайду.

Уже только по тому, что я не уточнил номер дома и квартиры, Осокина сразу же поняла, что заходить к ней я в настоящее время не собираюсь и, по-видимому, так никогда и не соберусь, но сделала вид, что не поняла этого.

— А ребенок твой чем занимается? — поинтересовалась Лена, и я обрадовался тому, что появилась, наконец, тема для разговора. Мы пили кофе и говорили о своих детях. Ее сын был на восемь лет старше моего, я его никогда не видел, но поймал себя на том, что жизнь этого неизвестного парня гораздо мне интереснее, чем перипетии судьбы самой Осокиной.

— Может, еще по чашечке? — спросила она. — Ну ладно, я вижу, ты не хочешь больше, и я тоже не хочу. Что я одна буду пить... Ты, наверное, еще один вопрос хочешь мне задать.

Я почему-то подумал, что она начнет скучно на бобах разводить о личной жизни, но продолжение было очень существенное.

— Ты думаешь, а зачем она старое фото на сайте выложила? Ведь ты подумал об этом?

У меня иногда бывает такое состояние, что я вдруг становлюсь предельно искренним. И я честно ответил Лене:

— Я не узнал тебя сегодня только поэтому. Ты очень сильно изменилась, постарела.

Лена вспыхнула от оскорбления.

— Знаешь, — ответила она не сразу, — а ведь ты тоже не похорошел. Впрочем, мужчины на этом не закливаются.

И, помолчав немного, уже спокойно произнесла:

— Проще все, Женя. Если я настоящую фотку выставлю, никто со мной встречаться никогда уже не захочет.

— Ну так ведь это не сайт знакомств, — ответил я, надеясь смягчить ситуацию. — Это «Фотострана». Там люди просто друзей ищут, общаются, создают группы по интересам.

— Ну что ты за хрень понес! — возмутилась Лена. — Ну какой мужик будет с женщиной встречаться, чтобы обсуждать рыбалку или рисунок протектора? Не бывает такого...

Мы уже стояли у тяжелой двери «Паруса».

— Я машину на горке поставил, — наврал я, чтобы не идти вместе с Леной по улице.

Я дошел до набережной и, глядя на заволжские дали, в тысячный раз ощутил, что ничего-то не понимаю в этой жизни. Ладно, что я других людей понять не могу, это явление обычное. Я до сих пор сам в себе не разобрался. И странно мне, что я себя не знаю, и пугает меня жизнь, которая каждый день преподносит все новые и новые сюрпризы. И вспомнилось мне почему-то, как мама купила в Астрахани у цыганки литровую банку черной икры. Засунула в банку столовую ложку, а там, внутри, — маргарин. Отвратительный запах маргарина преследовал меня до конца этого неприятного дня, а потом я переключился на свои дела и стал забывать про Лену и неудачное посещение «Паруса».

Впрочем, совсем не «Паруса». Оговорился я опять. Нет больше «Паруса», как нет и Лены Осокиной...

...«У Александра»!

